

ISSN 0321-0677

Волна



3

1990

Л. И. Борисевич

Воспоминания об Артёме Весёлом

(Из семейного архива)

Название романа Артёма Весёлого «Россия, кровью умытая» ныне стало символом эпохи революции и гражданской войны. Они подняли его, молодого сахарского рабочего, «первого грамотного в роду», из гущи народа и вознесли на гребень истории. Природная одарённость и колоссальный каторжный труд сделали его летописцем эпохи, позволили создать многоголосый роман, герой которого — народ и взметённая вихрем революции Россия. Во всём — и в жизни, и в творчестве — «он был честен и прям, как правда», и не случайно историк Михаил Геллер в книге «Утопия у власти» обращается именно к свидетельствам Артёма Весёлого о гражданской войне. В годы безвременья и лакированной, переписанной истории целеустремлённые читатели продолжали традиции литературы нравственного сопротивления. Возвращённые читателю после реабилитации 1955 года, но особо не рекламируемые, они ошеломляли, становились «откровением», как сказал Валентин Распутин; с их страниц вставала подлинная история России. Книги Артёма Весёлого ушли в большое плавание — от человека к человеку, от поколения к поколению.

Артём-писатель, талантливый и порой экстравагантный, был известен многим, но в нашей семье свято хранился образ и другого Артёма — любимого, давшего безмерное счастье своим близким, безвестно пропавшего. Двадцать один год я прожила рядом с Людмилой Иосифовной Борисевич — его женой, матерью его младших детей. Их дочь Волга была моей мамой. В те годы о творчестве Артёма уже писали статьи и книги, защищали диссертации, но никто не постучал в дверь комнатки в коммунальной квартире, где жила Людмила Иосифовна, не расспросил её о последних годах жизни Артёма, о романах, сгоревших в огне лубянской печей, а ведь именно её рукой под диктовку автора они скорей всего и были переписаны. Она умерла в апреле 1978 года, пережив Артёма ровно на 40 лет. Как корю я себя, что не записала документально её рассказы, такие редкие и светлые. Но ведь верилось, что бабушка будет рядом со мной всегда, да и понимала ли я, что Артём принадлежит не только нам!

Когда Людмила Иосифовна уже не было на свете, я открыла её заветный, сделанный лагерными умельцами фанерный чеходанчик. Там лежало самое дорогое — сотня писем детей — Лёвы и Волги, — которые они написали ей за 8 лет детдомовской жизни в лагерь, и несколько тоненьких школьных тетрадок с воспоминаниями об Артёме. Закончив в 1949 году первый очерк и отправив его с надёжным человеком дочери в Минск, где та училась в университете, Людмила Иосифовна понимала, что рискует и своей и её жизнью — разве могла обмануть бдительное око буква «А», скрывающая здесь имя Артёма! Но им мало было просто физического выживания, ей — после 8 лет лагерей, детям — после детдома, они не хотели жить без своего прошлого и постоянно просили мать вернуть своими рассказами им отца, вернуть их счастливые дни на Тверской в Москве, в лодке на стремнине Волги... Это были те золотые крупинки подлинной истории, из которых и складывается она народом. Второй раз к воспоминаниям об Артёме Людмила Иосифовна по просьбе детей вернулась в 1956 году, на этот раз она писала более подробно, год за годом. Но трагическая смерть Волги в роддоме от заражения крови в 1957 году окончательно сломила её; оборванная на полуслове тетрадь навсегда скрывалась в лагерьном чеходанчике. Спасибо судьбе и за те крохи, что дошли до нас.

Как много и как мало знаем мы о самых близких! Я часто думаю, какой же была та Люся Борисевич, которой Артём на книге «Дикое сердце» сделал посвящение «Люсенке — кусок сердца моего», а на другой написал: «Малютке». Какой была та Люся, которая в отрочестве, глядя на звёздное небо, раскинувшееся над минской окраиной, молилась: «Господи, об одном прошу, пошли мне жизнь необычную, не такую, как у всех». И сбылась её молитва. Приехав после революции учиться в Москву, она тут же ослепшила какую-то девушку, бывшую прислугу, отдав ей все свои модные платья, нашитые минской портнихой, а сама облачилась в форму женотделки и смешалась с рабфаковской молодёжью. Была у неё мечта —

стать врачом. Но блестяще выдержав вступительные экзамены, она не нашла себя в списке студентов — как дочь служащего, она не имела права на бесплатную учёбу. Знать бы её отцу, крестьянскому сыну, счетоводу с Либаво-Роменской железной дороги, что зря он берёт каждый грош, отправив детей в лучшие гимназии, не тому учил их, читая по вечерам Толстого и Чехова! Но прошли годы, и сбылась и эта Люсины мечта, только не в белом халатике, а в ватнике с пачкой детских писем на груди довелось ей ходить расконвоированной медсестрой по бескрайним просторам Карлага, неся людям помощь и утешение, а затем ещё десять лет патронажной медсестрой по деревням в Западной Белоруссии, где она поселилась на родине отца в Новом Свержене. Там-то, в комнатушке у чужих людей, и писала она по вечерам свои воспоминания.

Кроме этого текста, осталась в чемоданчике и пачка материалов: короткие — в 1-2 строки — заметки для памяти, так и не использованные Людмилой Иосифовной. Большинство из них уже, видно, никому не расшифровать. Мелькают имена лиц, с которыми общался Артём, — Левецкие, П. Дыбенко, Г. Бороздин, А. Береутин, Дорогойченко, Ю. Золотухин, В. Каменский, М. Герасимов, Н. Клюев, Г. Андрейчин, М. Солохов, В. Толстая, С. Городецкий, И. Козлов... О последних днях несколько кратких записей:

- Ему сказал следователь, что он где-то во время дискуссии голосовал за.

- Крученых, Никифоров — не то, не то, Артём читал стихи 28 октября 1937 г. [в ночь ареста].

- Хотела помочь ему — не разрешили.

- Хотел достать с полки для меня — не позволили.

- Прощаться разрешили — стояли и смотрели. (Ушёл, я легла к Лёве, а снизу стукнула парадная дверь за увидевшими Артёма.)

- Сек-сот.

Раскрываются архивы, и становится известно, что расстреляли Артёма много раньше официальной даты смерти — в апреле 1938 года, а его рассказ «Босая правда», осуждённый в специальном постановлении ЦК ВКП(б) 1929 года, инкриминировался ему и в обвинительном заключении. И даже если мы не узнаем, кто был тот сексот и пытавший его следователь, ясно главное — его казнили за его книги, а значит в них — правда.

Предвидел ли Артём свою судьбу и судьбу страны, когда ещё в 1927 году написал стихи в прозе «Тюрьма»? Заканчивают их такие строки:

Тюрьма, тюрьма...

Крепость тиранов.

Твердыня земных владык.

Дом задуманных рыданий.

Могила для живых.

Тьма, горе, яма и петля.

Твоей камень источен слезою, стены закопчены тоскою.

Непоколебимая, как тупость, ты плывёшь из века в век.

Законники облепляют тебя, как вши: они сосут твою кровь и гной.

Тень твоя одинаково обезображивает лик царств и республик.

Ветер обходит тебя стороною, птица не вьёт гнезда на твоих башнях.

Пребываешь гнусная, в гнусности своей, прикрыв пыльные запутанные глаза убийцы.

Когда над миром загорят грозы и взвоятся наши ликующие знамена —

на тебя, тюрьма, будет обрушен наш яростный вой и первый сокрушающий удар!

Надо рассказать тебе и Лёве хоть немного об отце, но со мной произошла удивительная вещь.

Они увели Артёма 28 октября 1937 года, и с той ночи потянулась для меня одинокая, странная, иногда ужасная жизнь.

Но всё это время жил возле меня, был всегда рядом, как бы стоял у меня за плечом близкий человек: я жаловалась ему; я утешала его; я гордилась им; я проклинала его; я любила его; я не ждала его; я берегла ему ваши письма; я оплакивала его; я ужаснулась его судьбе; я судьбу его разделила с ним.

Так прожила я восемнадцать лет.

И вдруг всё рухнуло от одной фразы, написанной мелким почерком в скобках: «(он умер в 1939 году)»¹.

Холодея, смотрела я на эту строчку, а оттуда в упор на меня глядела смерть.

Нет, — отбивалась я от неё, — нет! А как же детские письма? А неоконченные разговоры? Что ж будет с «Одной думой»? А книги? А Волга?

Я задыхалась... А в комнате — совсем чужие. Чтоб остаться одной, я ходила по тёмным улицам. Казалось — стоит остановиться, и произойдёт что-то ужасное.

А меня догоняло, кидалось на меня из-за угла — «он умер в 1939 году». Он умер! Он умер!

Надежда! Как это много для сердца. Как трудно ей умирать. Около года длилась выматывающая душу юридическая канитель. Вновь и вновь неумолимые бумажки деловито твердили: «он умер», «он умер».

И как только я по-настоящему поняла, что никогда, никогда у нас не будет встречи, произошла со мной удивительная вещь, — я ничего не могу вспомнить о нём. Как будто он умер, и всё, что было — умерло вместе с ним.

Как будто эти бесконечные годы внезапно приобрели конкретность, поднялись тёмной громадой, заслонили и отодвинули прошлое.

До этого — реальным казалось лишь то, что было до 1937 года, а после — жила, как живут на вокзале в ожидании поезда. Или смотрят кино, думая о чём-либо своём.

Перечитала то, что в 1948 г. по твоему настоянию написала об Артёме наскоро, в один присест.

Писала, когда мне было совсем не до этого. Я боролась, жестоко боролась за существование, упорно отстаивая твою долю, вкладывая в это все душевные и физические силы без остатка, как одержимая.

Конечно, это было писано для девочки, но я не знаю, как изменить текст, потому что всё тут дышит правдой.

Писала я с лёгким сердцем, считая его живым, а теперь в памяти всё будто под обломками.

Задумала наряду с хорошим внести тени, но не найду ни их, ни места для них.

Похоже, что не могу ещё вспомнить об Артёме, отделяя его жизнь от своей, ведь он для меня так недавно умер. И то, о чём приходилось вспоминать, было 25—30 лет назад.

На суде, в 1956 году, при оформлении брачных отношений я «показывала», что прожила с Артёмом одиннадцать лет. Но это не совсем так: я не прожила их, а скорее проплавала и проездила.

И чтоб не сбиться с пути, плывя по морю воспоминаний, мне нужен ориентир, и единственно надёжное в этом смысле — это ваш возраст. Вообще, все возникающие в памяти картины как бы набегают одна на другую — хронологию, топографию иногда невозможно установить, буд-то смотришь киноплёнки, наложив их одна на другую.

1. Весна 1927 г.

Артём, я — в Ленинграде.
Артём, я, Коля [Фёдоров] — Урал, Чусовая, Кама, Волга до Астрахани в лодке. Обратного на пароходе.
Артём, я — Севастополь, Ялта, Балаклава. Георгиевский монастырь. В ноябре родился Лёва. Артём был в Донбассе.

2. Весна 1928 г. (Лёве 6 месяцев)

Артём, я, Лёва — Ока, Волга, Кама — на пароходе.
Кубань, Брюховецкая, Новороссийск, Геленджик, Фальшивый.

3. Весна 1929 г. (Лёве 1,5 года)

Артём, я — Зайсан, Иртыш — в лодке [...] Я, Лёва — в колхозе в Поволжье. Колхозные частушки.

4. Весна 1930 г. (Лёве 2,5 года)

Артём, я, Лёва — от Рыбинска, с верховьев Волги, до Астрахани в лодке с 1 мая по 1 октября. Обратного — на пароходе. Зимой — Артём за границей [поездка к М. Горькому в Италию].

5. Весна 1931 г. (Лёве 3,5 года)

Артём, я, Лёва — Москва-река, Ока, Волга — на пароходе.

Жили на Ветлуге [в Сутылях] [...]

6. Весна 1932 г. (Лёве 4,5 года, Ляле — 6 мес.)

Артём, я, Лёва, Ляля — с верховьев Волги до Астрахани в лодке. Обратного — пароходом.

7. Весна 1933 г. (Лёве 5,5 года; Ляле, 1,5 года)

Артём, я, Лёва, Ляля — на даче в Барбашиной поляне [на Волге].

8. Весна 1934 г. (Лёве 6,5 лет, Ляле 2,5 года)

[...]

Артём, я, Лёва, Ляля — Волга, Барбашина поляна в доме отдыха.

9. Весна 1935 г. (Лёве 7,5 лет, Ляле 3,5 года)

[...] Я, Лёва, Ляля — Волга, Углич. Назад — с Артёмом на пароходе.

10. Весна 1936 г. (Лёве 8,5 лет, Ляле 4,5 года)

Все — Москва, Переделькино [...]

11. Весна 1937 г. (Лёве 9,5 лет, Ляле 5,5 лет)

Артём, Гайра, Фанта — плавают [...]

Я на [медицинской] практике.

Лёва — в санатории.

Ляля — с детским садом на даче.

Можно остановиться на этом, можно добавить 12 весну.

12. Весна 1938 г. (Лёве 10 лет, Ляле 6 лет)

Лёва — в детдоме в Городце, всё на той же Волге.

[Ляля — потеряна]

Меня выбросило на берег в Потье.
Артём? Доведется ли вам, детям его, уз-
нать, где «волны бедствий сомкнулись» в
последний раз над его бедной головою?

Как произошло моё знакомство с Ар-
тёмом?

Да никак. По его словам, он увидел
меня впервые в Румянцевке. [...] Когда я
усомнилась, он привёл доказательство —
падавшее через верхние окна солнце зо-
лотило волосы и пушок на щеке. [...] И
правда, я любила сидеть в конце зала
справа от выхода, а солнце днём падало
через верхние окна.

Он привлёк моё внимание на улице
своим довольно забавным видом. [В кон-
це 1924 г.] жила я на Новой Басманной, 31,
в огромном доме с двумя парадными. Вы-
хожу из своего, а навстречу мне к другому
парадному направляется рослый парень,
именно парень, а не юноша или молодой
человек. На голове несёт новенькую пле-
тёную детскую кроватку, непринуждённо
придерживая её одной рукой, как разнос-
чик. Не будь кроватки, я, наверно, не
обратила бы на него внимания (совсем не
мой герой!). Лицо чуть грубоватое, не в
меру румяное; ему очень не шла неболь-
шая круглая шапка с кожаным верхом и
чёрным барашком. [Был он] в морском
бушлате не первого срока с блестящими
пуговицами, умеренное галифе и сапоги,
делающие его как будто ещё выше ростом.

Имея в виду кроватку, я мельком поду-
мала — должно быть, Верин парень. Я
слышала, что Вера, недавно приехавшая
в Москву и поступившая на фабрику Ком-
сомола, в Крыму влюбилась с одного
взгляда в демобилизованного матроса,
зашедшего в ячейку. Веру я видела мало
и не интересовалась уточнить — он ли это,
как не знала я и того, что Верин матрос —
писатель. [...]

Была своя жизнь, свои личные дела.
К Вере ходила редко. (Далее Л. И. рас-
сказывает о ряде мимолётных встреч с
Артёмом. — Е. Г.).

Потом, очевидно, Вера сказала Артёму,
что я без работы², потому что через неё он
передал для меня записку в Госиздат на
работу. Госиздат рассылал тогда по шко-
лам областей, районов, деревень каран-
даши небольшими пачками. Карандаши
были скверные, писать ими было невоз-
можно. Мы надписывали на пачках адре-
са. Нас там было несколько человек.
Был там и Г[еоргий] Бор[оздин]³. Кан-
целярию устроили в коридоре экспедиции.

Очевидно, с Артёмом считались, раз он
устроил двоих, да ещё во время безра-
ботицы.

Только шестая встреча с Артёмом про-
извела на меня впечатление, и то неприят-
ное. Вечер, темно. Вероятно, мы вышли
из подъездов одновременно: я из своего,
он из другого, где жила Вера, и по пути к
трамвайной остановке перекинулись не-
сколькими словами. Артёма я не запо-
нила, не задержалась бы в памяти и встре-
ча, если бы не сказанная им фраза, от
которой полное безразличие к нему не
сменилось бы чувством резкой отчуждён-
ности. Надо полагать, что встреча произо-
шла после поездки Артёма с Верой,
Ш[урой Береутиним] и К[олея Фёдоро-
вым]⁴ в Астраханские пески на лошадях
по пути отступавшей 11 армии [в начале
1926 г.] [...] Похоже, что Артём сказал,
что собирается плыть по Волге, а я, веро-
ятно, спросила: «А как же Вера?» Тут он
сказал: «Другую Веру найдём», — что меня
чрезвычайно шокировало, как проявление
чего-то бластного и крайне циничного. Был
он в этот раз мрачен. [...]

Когда и как он предложил мне рабо-
тать у него, я не помню. Возможно, пере-
дал записку через Веру. Он жил на Пок-
ровке во II этаже [д. 3], в коммунальной
квартире. Была безработица, работа в
экспедиции окончилась. Я пришла по дан-
ному мне адресу. В первой комнате, с
балконом, обставленной бедно и просто,
сидели старики [родители Артёма]. Во
второй, маленькой, около столика у окна
сидел Артём.

Помню тягостное, ни с чем несравни-
мое чувство, которое меня не оставляло
с момента сокращения с работы на фабри-
ке. Как будто ты всех хуже и все тебя
лучше. То, что работу мне предложил он
сам, дела не меняло. Подавленная этим
чувством, я и вошла к Артёму. Он с деловым
видом, без предисловий, предложил
студ, начал объяснять, что я должна буду
делать и сколько буду получать за это.
По наивности или от смущения я поняла,
что эту работу Артём взъялся сделать сам
кому-то, но ему некогда, так он, уже от
себя, нанимает меня. Я ещё не знала ни
того, как писатели пишут книги, ни того,
что Артём — писатель.

[...]

Так началась одна линия наших отно-
шений. К своим обязанностям, к своему
куску хлеба, который я уже научилась
ценить, я относилась серьёзно и добро-
совестно. Зарплату получала исправно,
как было договорено. [...]

К открытию читального зала была уже



Артём Весёлый. Рисунок Д. Дарана

в Румянцевке. Заказав или получив оставленные за собою накануне книги, усердно читала и выписывала: одно — в толстую клетчатую тетрадь, другое — на отдельные машиночные листы. Даже по сторонам не глядела, как в прежние время. Через 5—5,5 часов сдавала книги и шла на курсы. Ах, и хорошее же это было время! И сейчас вспоминаю с глубокой нежностью этот огромный, в два света, читальный зал с его своеобразной тишиной, с неуловимым шелестом переворачиваемых страниц, с солнечным светом, падавшим на столы откуда-то сверху, днём, и рядами зелёных настольных ламп, теряющихся вдаль зала вечером. Зал всегда был полон посетителей, безмолвных и бесшумно ступающих, и всегда там можно было найти для себя свободный стул, усестяся, раскрыть книгу и с лёгким сердцем отрешиться от реального, не всегда понятного мира. Читала, пока занемевшая шея не напомнит, что пора кончать. Тогда я шла, но уже не так охотно, на Петровку на свои электротехнические, вернее электромонтёрские, курсы. И возвращалась домой только после 12 часов ночи, если шла пешком, и к 12, если ехала трамваем.

С Артёмом виделась только в Румян-

цевке, заказывала на завтра выбранные им книги, в дальнейшем научилась справляться с этим сама. [...]

Попутно с материалами для «Гуляй, Волга», что было моей основной работой, Артём задавал и для «России, кровью умытой» что-нибудь. Над «Россией» он работал непрерывно. Не помню когда, сказал, что «Россия» — это жена, а «Гуляй, Волга» — любовница, то есть отдых, для души.

Там же читал иногда сам или заходил предупредить, что есть работа у него. Это уже когда получил комнату на Тверской [ныне ул. Горького, д. 23]. И я стала по мере надобности заходить туда утром до Румянцевки. Показывала, что сделано, спрашивала — что дальше. Работала в строгих рамках его указаний. Но всё мне казалось, что он мало думает о «Гуляй, Волга», внутренне поглощён одной «Россией». Работа у меня была несложная, но скоро я вошла во вкус, увлеклась ею и была довольна, когда Артём куда-то уехал и у меня появилось чувство, похожее на ответственность.

Иногда вместо Румянцевки Артём диктовал мне новый текст, написанный, очевидно, накануне. Он или ходил по комнате, или сидел у стола немного позади меня, опершись на спинку моего стула. Писала я всегда карандашом и на хорошей бумаге. Писала я довольно быстро, не всегда успевая отрывать карандаш от бумаги, и слова были часто сцеплены между собой. Я поспевала за его речью, но ужасно торопилась, писала механически, мало вникая в текст, ориентируясь на интонацию. [...] Такие диктовки чередовались у меня с Румянцевкой. Диктовал он, должно быть, для того, чтобы слышать фразу, особенно места отступления, или после поездки диктовал очерк для газеты. Иногда перед диктовкой заставлял меня выслушать текст и сказать своё мнение. И у меня хватало не то такта, не то ума держать свои «три гроша» при себе, хоть и чесался иногда язык.

Этим я обязана, вероятно, Маяковскому. Он писал свою поэму «Ленин» и выступал с чтением глав в рабочих клубах. Однажды Алексей затащил меня в клуб. Вход был свободный. Было ещё светло. Выступление не носило обычного характера. Сразу после окончания работы аудитория негусто наполнилась рабочими; помню, были одни мужчины в рабочей одежде, женщин совсем не было. [...]

Теперь я предполагаю, что Маяковский захал с налёту, выступление его работники клуба не успели подготовить. Вышел

он на сцену безо всяких конферансье. В клубе было холодно. Кажется, и он был в пальто; кашне, во всяком случае, было на нём. Прочёл главу, хорошо прочёл. Вид у него был какой-то деловой. Окончив, предложил высказаться. Высказались. Как кто умел. Он терпеливо всех выслушал. Но ответил им коротко. Как написал, так и будет. Ничего исправлять не стану. Свернул трубкой свою рукопись или что там было у него в руках и спустился по ступенькам за кулисы.

Лучшее впечатление произвёл [он] на меня в 23(?) году, в Политехническом музее. Не помню, что за тема была. Пришли мы большой компанией прямо из университета. Зал был набит битком. Выступал Маяковский, но не со стихами. В ответ из зала раздалось несколько резких реплик. Маяковский сделал пару шагов к рампе, не то засучивая рукава, не то делая вид, что их засучивает, и предложил: «Кто не согласен? Выходи сюда». Зал одобрительно завыл. Но до драки не дошло.

А если и случилось мне что-либо сказать, то я не была такою дотошною, как Т. В. (?) Толстая. В строчке о тишине в «Саду» Артём написал: «...Слышно дыхание пчелы, сидящей на цветке». «У пчелы нет лёгких», — заявила она (!) ему. Он мне рассказывал, что она поправила его, когда он сказал: «У меня почка болит» (разве почка не может болеть в одиночку?). Но когда он говорил о печёнках, то была права, конечно, Толстая. [...] Это была настоящая графиня Т. В. Толстая [...] Она была самой милой из интеллигентных женщин, с которыми довелось столкнуться в жизни Артёму и отчасти мне. Она была поэтессой. Обаятельная в обращении и изящна по внешности. Кажется, хорошо относилась к Артёму. [...]

По поводу «четвергов» у Артёма. С его же слов знаю, что по четвергам у него собирались. Он был радушиим хозяин. Мать присылала ему с Покровки в ведре жаркое. Яблоки, виноград, апельсины у него вообще не переводились. Была даже приобретена хрустальная ваза, издававшая мелодичный звук, [...] и бокалы. [...] Я отмечала это потому, что это был предмет роскоши, не соответствующий студенческой обстановке Артёма [...]

Получил Артём комнату в доме ВЦИКа по Тверской, 61, на втором этаже, метров 20—25. Два окна выходили на Тверскую. Обои были серенькие, паркетный пол всегда натёрт. Потолок освещался снизу светом уличного фонаря, поэтому в ней никогда не бывало темно. Не бывало и совсем тихо — по Тверской тогда

ещё ходил трамвай. А сама улица была узкою. Через улицу напротив стоял высокий серый дом. Ещё стояли розовые стены Страстного монастыря, общежитие КУТВа. В комнате рядом было двое детей; когда расшались, их было слышно.

На стенах ничего не висело. На окнах не было ни гардин, ни штор. Стоял красивый с инкрустацией на изогнутых ножках овальный стол, какие мне приходилось видеть только в музее. (Его в конце концов какая-то комиссия забрала.) Это осталось от прежних хозяев этой квартиры — большой, в шесть-семь комнат. Когда стол выполнял роль обеденного, его покрывали листами машинной бумаги или несколькими газетами. Было несколько стульев; примитивная, из некрашенных досок, высокая, как рукой достать, книжная полка стояла в простенке у дверей. И другая полка, небольшая, поприличней — крашеная и с задней стенкой. Вот и всё.

Лампа посередине комнаты с эмальированной тарелкой-рефлектором на блоке. Её можно было подтягивать к тахте, заменяющей кровать. Артём обыкновенно читал лёжа. Ещё лампа настольная, кабинетная, под милым, напоминающим Румянцевку, зелёным абажуром.

Дверь комнаты выходила непосредственно в общий коридор, перегороженный в комнатушку. А где находилось скромное хозяйство Артёма: чайник и прочее, не помню. Обедал да и завтракал в столовой, ресторане. [...] Квартира была большая, в каждой комнате — семья. Писал ночами, поэтому имел привычку после обеда вздремнуть, прикрыв ухом думкою.

Открыв однажды дверь в его комнату, я была вынуждена зажмуриться. Не знаю, какой цвет сильнее ударил по глазам. Сверху до половины комната была оклеена гладкими без рисунка ярко-жёлтыми обоями, а снизу тоже гладкими, красивого оттенка, но невыносимо синими обоями. Таким на картинах бывает море. [...]

Придя к нему в другой раз утром, застала его за необычным занятием. Он прикреплял кнопки к стене листы своей рукописи, располагая их в один ряд. На другой стене рукописи уже красовались. Прodelывал он это совершенно серьёзно. Поэтому и я, не спросив, для чего всё это, сочла своей обязанностью помочь ему и, закончив работу, уселась к столу писать. Он объяснил мне, что так легче писать. Глава, над которой он работает, вся как на ладони. Но это как-то не привилось.

В другое утро во время диктовки к

нему зашли двое молодых людей. Будучи рассеянной, не придав значения их визиту, я не вслушивалась, о чём они толковали с Артёмом, сидя на тахте, и сильно смутилась (смутить меня вообще ничего не стоило), услышав, что Артём упомянул обо мне. Я всегда страдала от того, что он способен был полусерьёзно брякнуть кому-либо: «Это мой учёный секретарь», или «Я тут ни при чём. Это всё она. Она у меня учёная», если говорилось это в такой обстановке, где просто некстати показались бы мои уверения, что он бессовестно врёт или шутит. От смущения я взяла в руки яблоко; они всегда были у Артёма на столе. Так с яблоком в руках, как я ни упиралась, и заставил меня Артём сбиться. Я только выговорила себе одно: чтобы не было видно лица. Училась я на курсах; была у нас форма не столько техническая, сколько женотдельская: красные косынки, синие блузы и юбки. В этой форме я и попала в журнал⁵.

За все 12 лет моей дружбы с Артёмом я снималась всего 2 раза, и оба не по своей воле. Это был первый снимок, а второй раз меня сняли уже в [Бутырской] тюрьме [в 1937 г.] [...]

Скоро появился в комнате письменный стол. Не новый, в среднем ящике на месте замка было отверстие. Стоял он в простенке между двумя окнами. Приходя, я вешала на спинку стула жакетку, в которой ходила круглый год, усаживалась к столу, укладывала удобно стопочку гладкой машинной бумаги, брала карандаш. Писала стремительно, почти не отрывая карандаша от бумаги, не произнося ни звука, не оборачиваясь и не зная, диктует ли он с листа или же сочиняет. Да меня это, говоря откровенно, как-то не очень интересовало. Главным было желание добросовестно отработать зарплату. Было много и своих забот. Писать научилась быстро, и даже почерк изменился; для скорости я стала писать некоторые буквы не как обычно. И всегда успевала. Ни он меня не ждал, ни я его...

Договорившись предварительно с Артёмом, пришла я и в этот день. Уселась, приготовилась, навестила уши. А он подошёл и поцеловал меня. Вырвавшись, я стала лицом к окну, не столько взволнованная, сколько, грубо выражаясь, ошарашенная, и уже повернулась к нему, не зная, успела или нет что-либо выпалить, как остановилась, озадаченная его видом. Лицо растерянное, глаза умоляющие. Я, наверно, так и глядела на него молча, пока он не спросил: «Ты обиделась?» Будь на его месте кто-либо другой, всё в отно-

шении вида, может быть, было бы нормально. Но Артём, этот грубый Артём. Вид его не вязался с моим о нём представлением. Потому что взгляд у него был всегда твёрдый, уверенный. Усмешка была наготове, да и насмешка недалеко. Но только позже я узнала, как по-настоящему прекрасны бывали его глаза. И почему одна женщина назвала их удачно дремучими.

И, пожалуй, только «огоньковский» [1927 г.] снимок даёт отдалённое представление о таких моментах.

Вот он молча лежит на диване, или чинит бредень на берегу в поездке, или сидит за рулём, а глаза — дремучие. Лодка идёт по течению, вода тихая, неохота шуметь вёслами. Глаза дремучие, а на лице какое-то строгое спокойствие, так что самой хочется притихнуть, и так хорошо станет почему-то. [...]

Возможно, вот в эти-то моменты я и любила его по-настоящему. Таким я и вижу его иногда во сне. Я не способна была анализировать и над чем-нибудь особенно задумываться, но иногда какой-либо образ, слово в рукописи вводили меня к тому месту, где они родились.

Вернусь от лирики к фактам, к тому злополучному утру. Вспоминая, я полагаю, что тогда я не обращала на него внимания, не приглядывалась к нему. Как мужчина он меня никак не мог интересовать. [...] Его общество меня ничуть не стесняло, как бывало с другими. Огносился он ко мне по-товарищески, даже довольно сдержанно. Был он для меня в первую очередь, как говорится, работодатель.

Прозевала ли я что-либо в его отношении к себе; не прозвизала же его любовь, как молния, и был он далеко не бабник. Да и я не дала для этого решительно никакого повода, так как было не до него; была своя личная жизнь. Уж как произошла эта неожиданность — не знаю. Мой небольшой личный опыт и теория шли вразрез с этим, сбившим меня с толку, случаем. Единственно, что я хорошо поняла, так это то, что целовать мужчина должен именно так, а не иначе.

Чувствовала я себя прескверно. Это не на вечеринке, где можно неловкость скрасить шуткой. Короче говоря, получилось чёрт знает как нехорошо. С этим чувством я и ушла в Румянцевку. Так, пожалуй, хоть и не сразу, и началась вторая линия наших отношений. [...]

Встречались с ним уже только в Румянцевке. Товарищеские отношения восстановились, и оставайся Артём таким, каким был сначала, не присвоили бы мне в 1937 го-



Фотография была впервые опубликована в журнале «30 дней» (1927, № 5) с подписью: «Страницы рукописей своих произведений Артём Веселый обычно расклеивает по стенам своей комнаты»

ду звание «члена его семьи».

Но Артём как с горы покатился.

Стало получаться так, что из Румянцевки часто уходили вместе. Шли пешком. Заходили вместе победать. То Артём из-за меня в вегетарианскую, где посмеивался в усы над старушками, о чём-то с увлечением беседовавшими. («Они же говорят о жарком. Ты только посмотри, до чего им хочется мясного», — выдумывал он.) Или же я из-за него шла в закусочную, где хорошо готовили фаршированную шуку (по-еврейски). Он любил острые блюда.

Он вдруг стал красивым. Носил уже не шапку, а кепку, которая ему шла, и чёрное осеннее пальто, но в сапогах. Лицо стало тоньше, одухотвореннее, что ли. И ещё раз я его видела таким сразу же по возвращении из-за границы.

Пришлось как-то слушать «Кармен». Мы были в ложе одни. Он смотрел на сцену, а я, кажется, только на него. У него было какое-то вдохновенное выражение лица. [...]

Бывала у него редко. Результатом чего было то, что, приезжая с курсов поздно, я находила у себя телеграмму, а то и две. У меня даже выработался условный рефлекс: входя в комнату, взглянуть

под ноги (почту в общей квартире подсовывали под дверь в комнату). О злополучном эпизоде не было и помину. Отношения наши стали нормальными, но вести себя Артём начал ненормально.

Курсы мои помещались на Петровке на II этаже. Занятия были до половины двенадцатого. Я уже собиралась уходить, а со мной всё секретарь курсов разговаривает. Стоим у входной двери рядом с окном, что выходит на Петровку. Вижу — батюшки! — стоит Артём на противоположной стороне и смотрит в окно. А я никак от этого... не отвяжусь. Глянула ещё раз — нет Артёма. Я скорей в дверь, чтоб наверх не поднялся, а в это время он как забарабанит кулаком по стеклу — как только не треснуло! — прежде там была мастерская и в двери — зеркальное стекло. Секретарь ошепенел, а потом кинулся за мной в дверь. А Артём подхватил меня под руку, и как только мы с ним не свернули шею на полутёмной лестнице.

Ещё чище было в Румянцевке. Читальный зал там был огромный, в два света, то есть один ряд окон расположен, где следует, а другие расположены вверх на уровне II этажа, и вдоль одной внутренней стены тянется узкая галерея. В конце она, загибаясь, образует широкую площадку, обнесённую, как и галерея, деревянной решёткой. Это и есть спецзал, может, и ещё был какой. Там всего небольших три стола, и читателей тоже 2 — 3 человека. Пропуск в него можно было получить только через ЦК, а на выдачу некоторых материалов требовалось особое разрешение, и хотя вход наверх был свободен, пройти в спецзал без пропуска было нельзя. Пропуск у меня был, должно быть, на моё имя, так как Артём не мог войти, и я просматривала там газеты 16—17—18 годов для «России», увлеклась, засиделась. Вдруг в торжественной тишине, как из репродуктора на площади, раздаётся: «Лю-ся!». Вскрываю, как ужаленная, смотрю — Артём на галерее; сгибаю «уникумы», чтоб сдать их скорей и предупредить скандал. Но ничего страшного не происходит. Очевидно, никто не успел сообразить, в чём дело — стало по-прежнему тихо. Он уверял меня, что позвал сначала вполголоса, но я не обернулась, тогда он крикнул.

[...]

Я по-прежнему много и добросовестно работала, только более самостоятельно. И когда он жёг черновики на Ветлуге (их была уйма), там была и моя писанина.

Жизнь шла. [...] А дружба незаметно крепла. Уже я узнала, что у него много

друзей, и в свободные от курсов вечера сидела у него, вместо того, чтоб идти домой. У него всегда кто-нибудь был. Нравился мне Ю[рий Соколов], в котором было что-то от поэта божьей милостью; Георгий [Бороздин] с душой необыкновенно чистой, если верить, что глаза — зеркало души; Оля [Коган], очарованная Артёмом; Сергей Б., тогда еще холостой; Вл[адимир] Ст[авский]⁶; Николай [Фёдоров]; Шура Б[ереутин]; Боров (с женой которой я сидела).

Артём был остроумным и однажды допоздна рассказывал мне нескончаемую сказку, которую тут же, наверно, и сочинял. Я смеялась, стараясь делать это как можно тише. Потом Артём узнал, что соседи говорили, что у него «всю ночь плакала девушка». А плакать, может, и надо было, потому что отношения наши становились такими, как будто бы всё сказано между нами. Но на эту тему он почти не говорил. Во всяком случае его вопрос: «Поедешь со мной в Ленинград?» — не вызвал во мне особого переполоха. Довольно серьёзно я спросила:

— А что ты скажешь Вере?

— А я уже сказал.

— Что, что сказал?

— Сказал — я люблю Люсю и еду с ней в Ленинград.

— А она?

— Спросила — да-а?

Это, должно быть, так и было, как он говорил. Тогда я ни на миг не усомнилась, что разговор был именно таким.

И вот мы в Ленинграде. Был нэп.

«Моя молодая жена», — серьёзно знакомил он меня с [Лидией] С[ейфуллиной]. Уж не знаю, за кого меня там приняли. [...]

Невероятный леденящий ветер. На море — шторм. Людей на проспекте мало. Летит, гремя, пустой трамвай. Мы едем в Эрмитаж, мы одни на передней площадке прицепа. Дверь в вагон закрыта. Держа меня под руку по обыкновению, как клещами, неожиданно повернув лицом к себе, спрашивает в упор: «Люся, хочешь иметь от меня ребёнка?» Не помню, что я сказала: «нет» или «ни за что», но он вдруг отпустил меня и метнулся с площадки (площадка прицепа, как в товарных вагонах, — открытая). Очевидно, он не упал. Когда я опомнилась и выглянула из вагона, он ещё скользил по мостовой, балансируя руками. Был февраль. Обледенелый асфальт блестел, как лакированный. Не было на просторной улице ни машин, ни людей. Только неистовствовал ветер. Я сошла на первой остановке, до которой ещё долго неся трамвай.

В Эрмитаже мы все-таки провели чуть не весь день. Уже уходя, он ещё раз пригласил меня к одной картине, от которой я его утром чуть оторвала⁷. В Исаакиевском соборе он сунул в лапу сторожу, и тот пропустил нас на самый верх, куда вход был запрещён, и так как я вскарабкалась первая, меня тут же ветром швырнуло об стенку. Здоровье у меня было поистине железное; ездил я в летнем костюме.

В ресторан поехали на извозчике. Это был умопомрачительный нэповский ресторан. Уже один по-холойски великолепный лакей чего стоил.

В кепке и пальто, в неизменных сапогах, Артём больше всего походил на человека интеллигентного труда, но, сняв пальто, неожиданно оказывался в красных соконных галифе, в синей сатиновой сорочке, подпоясанной простым поясом. Держал он себя как хозяин, но меня сильно смущали его красные штаны.

Вечером, перед отъездом, были в клубе. Артём, кажется, выступал.

Возвратившись, он начал готовиться к первой поездке. О том, что я могу отказаться от неё, он, очевидно, не допускал мысли. [...] В разговорах на тему любви распространяться не любил. И банальным не был. «Ты полна мёда», — было наиболее удоборанным из его скупых высказываний. [...] [Как-то] сказал: «Мне так хорошо, как будто я еду святить куличи». И тогда же впервые: «Ты любишь меня?». Что-то мешало мне сказать «да», а вместо ответа я смеялась: «А как ты думаешь? Об этом не спрашивают». Я и сама ведь не знала.

Незадолго до конца нашего с ним пути, не помню уже, по какому поводу, говорит: «Если б я тебя не любил, не жил бы вместе, не плавал бы с тобой». Кому-то жаловался (не Дарану ли?): «Когда-то нам не было тесно с нею и на острие иглы, и одно пшеничное зерно мы делили с ней пополам. А теперь она разглядела, что у меня покатые плечи» — в его словах не было соответствующей этой фразе шутки; было что-то вроде горечи, вернее искренности. И тогда я впервые по-настоящему поняла, что позади осталось что-то больше, чем хорошее. [...]

А отъезд приближался. [...]

Сбирал всё в поездку Артём сам. Всё было продумано до мелочей. Бабушка⁸ сшила ситцевый полог, белый в полоску, назывался он балаганом и применялся обычно на покосах на Волге от комаров. Он укреплялся на четырёх колышках по углам. Заберётся в него и очутишься в

крошечной ситцевой комнатке. Накмарник — род чепчика, надевался на кепку, для лица шивался спереди чёрный тюль. Чёрного в продаже не было, бабушка белой красила сама. Довольно большой чугунный котёл, облитой. Деревянные, но расписные, покрытые лаком чашки вместо тарелок и такие же крупные ложки. Их, кажется, я по всей Москве искала и купила в «Художественных изделиях». [...] Палатку Артём купил большую, брезентовую. После дождя её трудно было поднять. Ну, бредень-кормилец, подпуск, который мы взяли только в первую поездку и то на практике не пользовались. К таким вещам, как удочка, Артём относился с презрением. Кошма войлочная, невесомая бурка кавказская. Самое ценное — портфель с рукописями, оружие, часы, бинокль — были предметом наших забот, так как боялись воды и песка. Хранилось это в носу лодки.

[...]

Для меня Артём купил кожаную куртку на белом барашке. Она была чудесная и очень мне шла. На второй день пути её сорвал с меня жулик, когда я вышла в тамбур, и прыгнул на ходу. Все ахали и советовали завязить куда-то. На Артёма это происшествие не произвело сильного впечатления. Он махнул рукой и меня успокаивал. [...]

Поэтому в Перми, когда мы ехали с вокзала на извозчике в гостиницу, на нас оглядывались. Артёму пришлось завернуться в бурку, а мне он отдал свой бушлат со светлыми пуговицами. Ну и косынка красная на голове. Было не очень холодно — был май месяц, но падал крупный снег.

К довершению всего Коля [Фёдоров], который ехал с нами и с которым мы где-то расстались, чтобы встретиться в Н-ске, встретил нас там будучи в одной гимнастёрке (несмотря на снег). У него на глазах на одной из остановок жулик унёс пальто из вагона. Кажется, мы купили плащи — брезентовые, белые, с капюшонами. [...]

Заехали к Юрию Золотухину в Свердловске. [...]

Потом — Урал. Не забыла его до сих пор. Потому ли, что была весна, потому ли, что благодаря прозрачности воздуха, там иные краски, потому ли, что была с нами любовь. Или потому, что я ещё мало чего видела, но сохранился он в моей памяти как одно сказочное раннее утро. Дворы — как крепость, даже с полом. В избе — литые широкие лавки «точно из стен росли». Стены из толстых брёвен,

без обоев и штукатурки, чисто вымыты, как и лавки, и пол, и высокий потолок. Хозяева сдержанные, полные собственного достоинства, но приветливые.

Ревда, водопад. А весенняя чистая зелень на горах. Ну не моим дубовым языком о ней рассказать. Плотина. Чусовая. Когда встречаю выражение «необъятные просторы Родины», то хоть и много я с тех пор поездила и повидала, но только в это место приводит меня воображение.

Первая ночёвка на высокочном, крутом берегу. Лес — стеной. Противоположный берег низкий; настоящее море зарослей. Чусовая — как лента. Когда удалось взобраться наверх и я обернулась — у меня заняло дух. Глаз не мог охватить сразу, как на море, расстилавшихся и бог знает в какой дали кончавшихся лесных массивов. О расстоянии, на которое они протянулись, можно было лишь догадываться по меняющимся оттенкам лесных краёв. Когда я предположила, на сколько вёрст охватывает глаз, Артём только усмехнулся.

Первая ночёвка. Артём и Коля нагрели большие камни на костре и положили их под слани из лодки, служившие нам кроватью в палатке. Очевидно, было холодно. Поверх сланей наложили еловых лап. Потом кошму. [...]

Ранним утром клич — «поплыли!» Когда спустились к лодке, нас сразу накрыла темная комариная туча. Было это, наверно, до восхода солнца. Ну что значило 50 г. гвоздичного масла. Ничего подобного я в дальнейшем не видела.

На Чусовой, пожалуй, самое сильное впечатление оставила первая стоянка. Население редкое. Запомнилась небольшая безлюдная деревенька, старуха, у которой мы купили, к её удивлению, много творчества и очень дешево. За обедом выяснилось, что он из перерона. Из нас троих никто не имел понятия о таких тонкостях.

Поставили, наконец, впервые подпуск. Это вёрёвка, и к ней на небольшом расстоянии друг от друга прикреплены крючки на коротких лесках. Вечером эту вёрёвку бросают в воду, держится она на поплавах, а утром выбирают с добычей. Ставили её Артём с Колей в моём присутствии. Утром я не охотилась, как они поднимались его выбирать. Вот они будят меня: «Ты взгляни, какой улов!» И хотя я впервые видела вынутый подпуск, но всё же поняла, что улов исключительный — на каждом крючке стерлядка. Все довольно большие и ровные — одна в одну. Я похвалила рыбаков. И только после этого они не выдержали и объяснили, что на подпуск ни

одна рыба не поймалась, и они куда-то сходили к рыбакам, купили готовую и не поленились насадить её на крючки. Это, конечно, была затея Артёма.

Приготовили завтрак, благо стерлядь недолго чистить, и ели на берегу у лодки, а когда я пошла что-то взять в палатке и раздвинула её полы, то ничего не увидела — перед глазами колыхалась завеса из комаров. Комары были худые, голодные, но крупные. Потом разложили огонь в палатке, комаров выкурили до одного. Плотно застегнули дверь и легли отдыхать. А когда окончательно рассеялся дым, из всех складок и щелей (в какие они попрыгались) вылезли комары и выкурили нас.

Кормились с сети да с ружья. С подпуском было покончено. Рыбачили только с бреднем и всегда успешно, а ружьём били каких-то птичек у кромки воды. Они были серенькие, довольно большие и быстро бегали. Звали мы их рябчиками; ошипанные и обжаренные на вертеле, они становились маленькими и чёрными от копоти, и в таком виде мы их называли арапчиками. Были они довольно сытными, но не сытными.

Поэтому, когда представилась возможность, Колю командировали куда-то купить баранины. Пошёл Коля и сгинул. Ждём-ждём, солнце на закате, сторона чужая — стали беспокоиться. К вечеру вдали замаячила фигура. Всмотримся — не иначе Колю кто на себе несёт, либо он кого на плечах тащит. Так и есть. Принёс Коля целого барана. «На фунты, — говорят — не продаём, берите целиком». Да ещё за бараном в стадо идти пришлось. Мясо изрезали ломтиками и нанизали на ванты. [...] Лодка имела карнавалы вид, казалась украшенной гирляндами лепестков.

[...]

Жил Коля вразалкой (как некоторые ходят). Основной чертой его была невозмутимость. Парень крепыш, среднего роста, довольно курносый, на круглом лице румянец, глаза небольшие, серые. Вверх не хватало среднего крупного зуба. Свисали небольшие калмыцкие ушки. Дружил с ним Артём не то по Рабфаку, не то по Литфаку, а ещё Шура [Берутин] был — оба ездили с Артёмом и Верой в Астраханские пески, и Артём с восхищением рассказывал, как Коля на сильном морозе рубил мясо голой рукой и «не поморщился ни разу, стервец». (Руки у Артёма были тонкие, совсем не мужицкие, с топором я его не видела. Не было у Артёма деревенской хватки ни в чем.)

Коля был сродни Менделю Маранцу. Если ему надо было разгрузить лодку на стоянке, то он долго соображал и примерялся — как это всё захватить за один раз — и заребал, и нес сразу: палатку, парус, кошму, вёсла, слани — силы у него хватало. Под вещами его самого не было видно. По дороге одна за другой вещи падали. До места он доносил только что-либо одно.

«Давайте прикрывать всё. Вот-вот дождь пойдёт!» — над головой повисла чёрная туча. Коля закидывает голову, что-то в уме прикидывает и спокойно говорит: «Не будет дождя, ласточки на дождь не так летают. Тучу отнесёт в сто...» — договорить не удаётся, потому что не дождь, а ливень обрушивается на наши головы. Укрывать что-либо в лодке уже бесполезно.

[...]

Вошли в Каму... Кама! Проплыла я несколько раз по Волге с верховьев до Каспия. Видела её весной и осенью, и с лодки и с палубы парохода, плавала по Москве-реке, Оке, была на королёвской Ветлуге, никогда не забуду дикую Чусовую, Иртыш. Но с чем можно сравнить плёсы красавицы Камы? Воздух ли над ней прозрачней, небо ли над ней синее, кажется ли вода темнее от того, что зелень на берегах сочная — не знаю. Но нет ничего прекраснее коротких камских плёсов — казалось, и облака над ними проходят медленнее.

Когда входили из Камы в Волгу, чистая камская вода не сразу смешивалась с волжской — так и текли цекоторое время полосами чёрная камская и жёлтая мутная волжская. А впечатление такое, что не Кама в Волгу впадает, а Волга в Каму.

Плыли. Артём взял с собой полное собрание сочинений Бальзака. Мы его читали вслух и по прочтении уничтожали. А я думаю — вот с другими авторами Артём так бы не поступил. Больше в поездки никогда ничего не брали, да и Бальзака Артём взял для того, чтоб на чтение его не тратили времени в Москве.

Так и плыли по воде и жили, как живёт на Волге рабочий люд — рыбаки, плотовники. Были у нас разного рода приключения, как у всех путешественников. Были мы молоды, всё у нас в конце концов обходилось смехом и катилось по смеху, как по маслу.

Утро в росе. Солнце ещё на восходе за лесом. Плыли всю ночь, приткнулись позавтракать к лесному берегу. Мы уселись на гальке, чуть повыше воды. Догорают костёр. Доедаем что-то со ско-

вороды. Над огнём кипел чай. Коля, если не вру, полулежал — вообще, это было его излюбленная поза. Было тихо — наверно, рты полны. Вдруг мужчины ахнули, Коля вскочил, а я поняла, что случилось, только когда Коля бросился к воде, а впереди него я увидела — мчится заяц. Добежав до лодки, заяц круто повернул и пустился вдоль берега. Это он сверху из леса разбежавшись, играючи или спасаясь от кого, сиганул через Колю и с перепугу чуть не влетел в лодку. Вот тебе и охотничий рассказ. Кто б этому поверил, если б не три очевидца. Ну и места — зайцы сами на сковородку прыгают! В таких случаях всегда оказывалось, что ружьё не под руками. А когда ружьё под рукой — дичи нет. Стреляли уток. Жарили их над костром, но не помню в какой поездке.

На Волге, а может, на Каме, плыли с плотами. Лодка шла сзади, а мы на плоту. Мужчины рассказывали сказки, брёвна колыхались. Стирая бельё, я спустила весь запас мыла под воду. Варили уху.

Когда Волга была очень хороша, я, никогда не видевшая моря, приставала к Артёму: «Ну вот теперь похоже на море, если б не было берега?» Он смеялся.

У Артёма был строгий режим плавания. Как ни прекрасны бывали стоянки и погода — «поплыли!», и его не стоило упрашивать — редко соглашался. Возможно, он условливался быть такого-то числа в городе N.

[...] Астрахань — песок, уныло. Жара, пыль. Донимал в ветреные дни песок: всё было с песком и в песке. Он через портфель и чехол набивался в маузер, часы. Заносило, затягивало — посуду, тряпье. На Волге шёл беляк, свистел в палатке, вырывал колья. Готовили на костре — всё с песком. [...]

Плыли ночью. Мужчины дежурили. Шли по стрелю и гребли. Коля на дежурстве уснул. С Артёмом этого случиться не могло. Если вода тихая и нечевали в лодке, пущенной по течению, то старались не стучать и громко не говорить, чтобы не привлечь комаров. В этом случае комары и мухи становились нашими собственными и плыли вместе с нами, прячась в лодке, если мы раскладывали на сковороде на носу дым. Крепок сон на воздухе после целого дня возни и трудов на пальцах солнце. Я очнулась от невероятного шума лопасти колеса колёсного парохода и яркого света. Артём отчаянно выгребался, чтоб лодку не втянуло под пароход, ругал Колю. Мы были на волоске от гибели. Пароход освещает небольшое пространство около себя — лодку и

не увидел, должно быть. Было страшно. [...]

Возвратились [на пароходе] в Москву. Я только успела сшить платье, и мы поехали в Крым, уже вдвоём.

В Севастополе я впервые увидела море. Артём сумел его показать в наиболее выигрышном месте. [...]

В Ялте виделся Артём с Маяковским. Мне Ялта не понравилась.

В 12 верстах от Севастополя, в Георгиевском монастыре, в частном пансионе Артём снял комнату с балконом. Немного ниже был дом отдыха ленинградских студентов. Народу было немного. Хозяйка старалась угодить и всё допытывалась: не молодожены ли мы. Я, смеясь, говорила, что уже женаты 5 лет. Артём держал себя так. [...] Называл Люкой. Койку выдвинули до половины на балкон и спали под звёздами и без комаров. Это могли оценить только мы, «водоплавающие».

В Балаклаве встретились с Ш [урой] Бер [егутиным], который был там в доме отдыха. Ездил на местном пароходе в Севастополь. Во время качки капитан освободил мне место около трубы и всё вертелся и спрашивал, удобно ли мне. Качка была сильная, и я радовалась, что не страдаю морской болезнью. [...] Я, смеясь, говорила Артёму, что он боится, что я на пароходе рожу. Но, должна сказать, что фигура у меня мало изменилась.

Внизу, в море на скале, выступающей из воды, фигура Георгия Победоносца с золотым крестом в поднятой руке: «Святой Георгий грозил сияющим крестом далеким аулам» (А. В).

Меня удивляет, что обстановка, в которой я провела последние шесть месяцев, никак не повлияла на ребёнка. Не стал Лёва ни бродягой, ни путешественником.

Я не успела как следует прийти в себя от поездок, как появился на свет сын, названный лично мною в честь автора «Анны Карениной» Львом Николаевичем. [...] Артём в это время был в Донбассе. [...] Когда он явился и спросил: сын или дочь, я сказала — Наташа. А он подошёл и развернул пелёнку. В предыдущем разговоре девочку решили назвать Наташей, а мальчика — Ярмаком (чего я никогда бы не допустила, так как знала, что Ярмак в переводе значит «артельный котёл»), а то ещё Сокол или в этом роде. [...]

Весной [1928] г. уже втроем мы отправились по Оке, потом Волге, Каме на пароходе. Ехали в I классе. Каюта с ван-

ной. Манную кашу Лёвке заказали повару, но он сварил что-то вроде гурьевской и поэтому уже я сама варила её у матросов на круглой печке.

Артём отстриг длинные волосы, единственный раз за все время. Был похож на Ваньку-Ключника. Ему шло.

В Саратове он назначил свидание с Ниной С. Я её не видела, так как не выходила на дебаркадер.

Была самый разлив. Берегов не было видно; по воде плыли целые деревья; черёмуха в цвету — это с подмытых половодьем и обвалившихся берегов. У Артёма от восхищения только ноздри раздувались. В Перми (4 часа стоянки) встреча с Золотухиным. [...]

Проплывая, с верхней палубы, Артём указывал места, где мы плыли, где были стоянки, я же угадывала с трудом.

Прнехали на Кубань. В Брюховецкую попали по узкоколейке — это поезд, везущий только рабочих.

Наверно, я мало читала о Кубани. Не может быть, чтобы весенняя степь, начинающая колоситься, покрытая пшеницей, не нашла своего певца. Это было зрелище просто удивительное; чувство простора, вызывающее глубокую радость. Я готова была, как еврей в зоопарке, увидевший жирафу, воскликнуть: «Не может быть!» Величественное обычно подавляет, но это зрелище как бы приподняло меня. Говорить или восхищаться я не могла. Артём, очевидно, видел это не раз и ничем восторга не проявил.

Это было весной. Наверно, мы прожили там около месяца. Плавали по Кубаниреке, столь воспетой. [...]

Занимали в Брюховецкой отдельную квартиру. Хороший дом в саду, с крашеными полами; хорошо было в большой комнате, наполненной зеленоватым сумраком. Столовались где-то в частном доме. В саду была громадная лственница. [...]

Артём взял с собою Библию, и мы читали её вместе, вернее, читал вслух Артём. К моему удивлению, нашла, что и Пушкин, и Пастернак, и кто-то третий заимствовали из этой книги образы. [...]

Наступила жара, небо было тяжёлым, на солнце можно было взглянуть просто глазами — оно было в каком-то мареве. И тени были какие-то страшные. (... Опушен текст о пребывании в Геленджике и Фальшивом, встрече Артёма со Ставским, возвращении в Москву. — Е. Г.)

Лёву взяли няньку с прекрасными рекомендациями и начали ходить в Румянцеву. Весной Лёву отвезли к Ст[ефану] Он [уфривею Вонсович в Минск]. [...]

А мы [весной 1929 г.] отправились на озеро Зайсан. Замахнулись доплыть чуть не до океана. Наслушавшись басен о диких местах, предвкушали знакомство с дикой Обью, где, по рассказам, медведи выходили из леса и шли по берегу вслед лодке. [...]

Запомнился Семипалатинск. Павлодар — что-то унылое, сушь. Дикий ветер, песок на узких улицах выше домов. Завеса пыли мешала увидеть вывески на противоположной стороне улицы.

Где-то (?) девушка, заведующая амбарами, грамотная, читала книги Артёма Весёлого, но продать хлеба (без карточек) категорически отказывалась. До этого довольно милостивое лицо её стало вдруг неприятным и неподвижно-суровым, что меня очень заинтересовало. Когда мы шли, торопясь, обратно, Артём громко выругался, но адресовано это было не девушке, а, наверно, системе. Упоминаю это потому, что это был единственный случай. Ездили мы все годы подряд и покупали всё по спекулятивной цене, очень высокой, и всегда на рынке, но не было случая, чтоб это было предметом разговоров или высказываний.

Был 1929 год. На пароходишке до Тополёва мыса. На пароходе, на корме, всего одна большая каюта — там женщины и дети. [...] Ехала с нами к мужу одна белоруска, невероятно акашная. Она говорила всё о своём муже и месте, где тот работает называла «Гапау». [...]

Утром высадились на Тополёвом мысе. Тополей там, по-моему, не было. Было несколько домишек. Зелени никакой, один песок. Кроме домишек, были сарай, похожие на большие, из ивовых веток плетенные, квадратные корзины.

[...] Артём пошёл разыскивать лодку. В таком месте, где один песок, это оказалось делом очень трудным.

Я вышла на улицу. К моему удивлению, под один сарайчик раком вползла женщина. Подойдя ближе и найдя в прутьях шёлку, я заглянула и удивилась ещё больше — сарай не имел потолка и оказался обыкновенным огородом. Чтoб не заносило песком, их там делали таким образом.

Артём не мог найти лодку. Остановился на одной: форма её — яичная скорлупа, разрезанная вдоль. Она была очень большая, очень старая, тяжёлая, наверно, гнилая, и когда я села с Артёмом опробовать её, Артём сказал, что я в ней, как княжна у Стенки Разина — лодка была действительно огромной. Пришлось взять другую — та средних размеров, но пло-

скодонка; Артём не любил их, так как они плохо слушаются и неудобны для косого паруса. Выбора не было. Взяли за большую цену — эту.

Было часа три. Помнится, что нам советовали отложить отъезд и переночевать, но не терпелось выплыть, и мы решили ночью не плыть, но, чтобы избежать лишних разговоров, отъехать и ночевать на берегу. Так и сделали. Расплатившись, распрощавшись, отплыли километра два, приткнулись, сварили молочную лапшу в ведре, чтоб не распаковываться, а есть решили в лодке по очереди и проплыть, держась у берега, выбрать стоянку.

Мы совсем немного отошли от берега. Ни один из нас ещё не успел поест. Артём был на вёслах, как солнечный свет стал тусклее. Было часов пять, но на безоблачном небе солнце довольно высоко и воздух с желтоватым оттенком. Ветер упал. Стало как-то не по себе. Артём взглянул на небо и, показывая на едва заметное облачко вверх (скорей не облачко, а, как удачно назвал его Артём, «грязная плёнка»), сказал, что ему не нравится «всё это». Берег был рядом, само собой разумелось, что надо было пристать к нему — это даже не требовало обсуждения, но привести это в исполнение мы уже не успели.

Теперь, когда я, читая путешествия, встречаю самые невероятные вещи, я ничему не удивляюсь, потому что понадобилось буквально несколько минут на то, чтоб «грязная плёнка» выросла в тучу, закрывшую небо. С берега, к которому мы хотели пристать, сорвался бешеный ветер, поднялась волна, и разразилась страшная буря с невероятным ливнем и громами-молниями.

К счастью, наш парус не был поднят, иначе мы не успели бы его спустить, как лодку перевернуло бы. Мы ползком обменялись местами: я села в вёсла, Артём с кормовиком. Я гребла, как зверь, но нас гнало от берега. Уже не понимала, где тот берег, вдруг у Артёма переломило кормовик. За шумом дождя, за громом не слышно было, что он кричит мне. Лодку крутнуло, и у меня вырвало одно весло. Артём схватил второе вместо кормовика, но его тут же сломало пополам. Стало темнеть. В лодку уже налило дождём, и теперь стало захлёстывать волной. Ведро с лапшой уже текло через край, и Артём стал вычерпывать им воду из лодки. Но это было бесполезно, так как волна и дело захлёстывала.

Артём начал выбрасывать за борт мокшее большое ватное одеяло и ещё что-

то, чтоб облегчить лодку, а я взялась за ведро, но мне стало нехорошо. Когда я подняла голову из воды, я увидела за бортом отвесную массу воды, как мне показалось высотой не меньше, чем с дом, а лодка в это время нырнула к её подножию. Меня снова стало мутить, и я легла прямо в воду, стоявшую в лодке. Поднял меня Артём. Небо и вода были одного цвета, но темно не было. Низко неслись тучи. Лодку продолжало гнать ветром. Шла она бортом и невероятно ныряла. Ветер рвал так же, но впереди, перпендикулярно к борту лодки, шли, сбивая гребень, мачта и слани, навязанные Артёмом на длинную бечеву. Плывая впереди лодки, они-то и не давали лодке хлебнуть по-настоящему или перевернуться. Лодка, потеряв часть груза, сидела выше.

Приподняв и вытащив меня из-под кормы, Артём заставил меня проделать бессмысленную в той обстановке вещь. Он достал из носового отдела лодки, где было всегда спрятано всё неприкосновенное: оружие, рукописи и т. д., пару своего тёплого белья — оно было сухое. Он ничего не говорил, я не хотела шевелиться, но он заставил меня надеть его. У меня мелькнуло, что солдаты, идя в бой, надевают чистую рубаху.

Артём продолжал отливать воду. Я видела только его силуэт на другом конце лодки. Я была, если не вру, привязана к кормовой скамейке. Я не то снова уснула, если можно уснуть в холодной воде, не то снова ослабела до бесчувствия — меня сильно измотала морская болезнь.

Очнулась или проснулась я оттого, что лодка ткнулась дном в песок — её прибило к берегу волной. Солнце было ещё невысоко и резнуло глаза, отражённое в крупной ряби, какая бывает на мели. Потом я узнала, что было 9 часов — значит нас носило по воде 16 часов. (Озеро 60×40 км.)

До киргизской юрты, стоящей на берегу, была ещё хорошая полоса воды. Уже шли по воде калмыки, закатыв штаны выше колен и подоткнув халаты. Я, как будто чувствовала себя хорошо, но меня почему-то из лодки вынесли, и как внесли в юрту, я уже не помню.

По-настоящему я очнулась, вернее, уже проснулась, оттого, что у меня болели и неудобно были забинтованы руки. Глаза сразу остановились на старухе, вернее, просто немолодой киргизке, сидящей на земле в юрте — этой маленькой круглой комнатке без дверей и окон, освещённой

через отверстие вверх. Было чистенько и уютно — не было, вернее, в ней никаких вещей. На единственной постели из кошмы лежала я. А женщина сидела посреди пола над костром, горевшим без дыма. Над огнём висел небольшой чёрный котёл, в нём кипело масло. Женщина сидела по-турецки, штанина на одной ноге была засучена выше колена, на этой части ноги женщина, как на столе, быстро и ловко раскатывала тоненькую колбаску из белого теста и на весу, не менее ловко, отхватывала от колбаски мелкие кусочки, падающие в кипящее масло.

Я ещё раз закрыла глаза, сообразила, где я, и осторожно выпростала из-под кошмы руки. К моему удивлению, они не были забинтованы. [...] [Стёртые] руки стали как подушки, пальцы не сгибались.

[...] Скоро пришёл Артём с мужчинами.

Дверь юрты смотрела в степь. Я вышла, солнце стояло уже высоко, был ветер. На песке сушились наши шмотки. Красиво, как флаг, волновался под ветром растянутый для просушки красивый ситец. Мы взяли его с собой для обмена. [...]

Как держал себя Артём? В те моменты, когда я его ещё видела, — спокойно, несуетливо, даже когда помогал мне переодеться, мало говорил, хотя уже было относительно тихо. Как надвизывал мачту и слани, как провёл ночь, вычерпывая воду, я не видела, так как очевидно, очень скоро вышла из строя. Помню, что в темноте я вычерпывала воду миской, а Артём ведром.

На берегу держал себя так, как будто ничего особенного не произошло. Только когда я спросила, почему он навязал мачту: это испытанный приём или он первый это сделал, он сказал, что не видел, чтоб так делали, но надо же было что-либо предпринимать. [...]

Дело окончилось тем, что появилась лошадь с телегой; на неё поставили лодку, и уселись мы с Артёмом, возница шёл пешком. Артём вёл себя как всегда. Ехали до вечера мимо невысоких скал или больших камней недалеко от дороги. На них невозмутимо сидели коршуны, даже не считая нужным подняться при приближении повозки. [...]

К вечеру добрались к истокам Иртыша, зашли в единственную избу бакенщика. На этой должности оказалась женщина. Жила в этой глуши одна. Был у неё муж, но она его прогнала от себя и жила одна уже давно. Один раз в месяц ей привозили муку и жалование. У самого

порога — море камыша. Мясо добывала сама — на рыболовные крючки, привязанные к верёвке, насаживала что-то, и их, крючки, заглатывали утки — что-то вроде подпуска.

Когда мы пришли, она спросила, не хотим ли мы молока. Мы изъявили согласие. Тогда она вышла на крыльцо и позвала: «Машка, Машка!». Сидим, разговариваем. Немного погодя слышим колокольчик — приходит корова. Это она её позвала, и та пришла как собака.

Было необыкновенно эффектное небо после заката и, как всегда в эти минуты, необычайно яркая зелень. Тишина. Не раз я вспоминала эту женщину с её необыкновенным характером, с суровой судьбой.

Плыли по Иртышу. Он узкий, берега лустые и там, где проходит сквозь горы, и там, где от берега начинается ровная, как скатерть, степь, обрываются к Иртышу невысоким крутым берегом. Встречи с населением были редки, не в пример плаванию по Волге. Несмотря на бурное начало, настроение у Артёма было чудесное. Вернулась молодцеватость. Когда шли под парусом и он был на корме, я должна была сидеть у него на коленях, боясь пошевелиться, чтоб не перевернуть лодку. Помолодела и я. Две косички над ушами, широкополая шляпа, не знаю откуда, сплошной купальник. Если издали видели всадника, я набрасывала юбку и кофту. «Продай, продай дочку!» — привязался всерьёз старик. Артём загорелый, необритый.

Восхитительное зрелище представляли небольшие узкие ложбинки, неожиданно открывавшиеся между невысоких, покрытых зеленью скал. Или они бывали заполнены какими-либо необыкновенной формы яркими цветами, или там была тьма небольших голубоватых мотыльков.

В самом узком месте Иртыша кипел, бурлил, покрытый пеной, грохот камней, которые он волочил по дну, оглушал — я видела, что Артём, сидящий на корме, что-то мне кричал, но услышать ничего не могла. Я думала, мы там разобьёмся, но почему-то ничуть не было страшно, солнце сияло, вода сверкала — было нестрашно и весело.

Аул запомнился один. Весной киргизы уходят в степь. С расписной миской в руках иду за творогом или яйцами. Навстречу катится под ноги клубок верблюжьего пуха — щенок, даже уши и хвост не выделяются. Я его схватила на руки, а женщина сую в руки миску за него. Пока мы с нею объяснялись, спускался к

реке, глядим — несутся за нами несколько ребят, и у каждого в руках точно такой же шенок.

Шенка мы называли Майкой. Он был флегматик, страдал от солнца, лежал на мачтовой скамье, спустив хвост в воду, и не лалял. Наконец, когда он вырос, пришлось оставить его на одном хуторе. Уходя, я просила сына хозяйки — мальчика лет двенадцати — не обижать Майку, не бить. Тронутый моей привязанностью к собаке, он меня успокоил: «Не беспокойся, тётя, если пес окажется негодным, я из него шапку сделаю».

[...]

Необыкновенное чувство охватывает, когда стоишь на небольшом островке посреди Иртыша, а он мстит на тебя и послушно у ног рмстается по обе стороны. Стоишь-стоишь, и начинает казаться, что плывёт остров. В одном месте шёл пароход мимо такого острова, почти касаясь бортами берега с одной и острова с другой стороны.

На одном острове нельзя было отыскать полянку для палатки — так всё переплелось и было в то же время пронизано солнечным светом. Там было душно от запаха зелени.

Один раз с вечера собиралась гроза и к ночи разразилась. Молнии сверкали беспрерывно. Артём, в одних трусах, разматывая бредень (мы на песчаной отмели): «Айда бредить! В грозу большая рыба пугается и жмётся к берегам!». Самой себе не верится, что я тогда ничуть не боялась. Больно хлещет по спине дождь, от молний то и дело светло, а в мотне, вытщенной на берег, большие сазаны блестят в сетке, как металлические тарелки. Такой крупной рыбы я не видела и в магазине. Только когда прошла гроза, мы бросили этот опасный вид спорта. [...]

У Артёма была манера оставлять письма и фотографии в столе или на столе. Писем я никогда не читала, снимки смотрела. Однажды, рассказывая о брате, погибшем на фронте, я упомянула, что его товарищ передал большую пачку писем к нему, написанных женским почерком. Особенно много было написанных одной рукой. Письма носили интимный характер. И я ни одного письма не прочла. Так эта пачка хранилась мною на чердаке у тёти до отъезда в Москву. Артём просто возмущался, вернее, не мог понять — как я могла остаться равнодушной к такому материалу. А я так же не могла понять то, как можно прочесть адресованное не мне письмо.

И вот однажды на Иртыше, где города

редки, мы сделали стоянку у города, стоящего далеко от реки. Артём пошёл в город и долго не возвращался. Я осталась в лодке. Остановка в городе — это визит в редакцию, на почту, на базар. Но Артём, кроме почты, нигде не был. Принёс он письма. Мне было целых три, и все от Алексея, и все распечатаны. Артём мне отдал их молча, и, несмотря на то, что на базаре ещё не был, мы поплыли.

Почерк на конверте привёл меня в смятение. Содержание было столь интимным и недвусмысленным, что я растерялась [...]. Дело в том, что я не знала, что известно Артёму о моей [прежней] личной жизни. Он никогда не спрашивал, я не говорила. Я себя чувствовала так неважно, что не решилась обвинить его в неблагоприятности его поступка.

Но... была у нас вторая молодость. Бледная тень кошки промелькнула и тут же скрылась. Пробежать ей между нами не удалось, так как мы слишком крепко держались друг за друга в этих красивых, но чужих казахстанских просторах. Об этом можно было бы не упоминать, если бы это не характеризовало его поведение при данной ситуации. Был случай, когда О. спросил в шутку, не боится ли он, что я ему изменю с Z, и он сказал: «Была б мне полна, а в остатках вольна». Но я имела случай убедиться, что его снисходительность была не то что напускной, а просто у нас всё было мирно потому, что он верил мне, хорошо зная мою, если можно так выразиться, чистоплотность в вопросах морали. Я могла уйти от мужчины даже против его воли, но изменить и вернуться — никогда.

И ещё как-то мы по душам разговорились, и он мне сказал, что мужчина никогда не может простить измены женщине, но что измена мужчины — это ерунда.

Георг[гию] Бор[озднику], с которым я работала в издательстве, негде было ночевать, и он несколько раз приходил ночевать у меня. Ложился он на свою шубу в углу и, как всякий бездомный, будучи измучен до полусмерти, мгновенно засыпал. Был он парень скромный, по натуре поэт, но старался выдать себя за циника, что ему плохо удавалось. Меня он называл «купырь», я не понимала, что это значит, а он не объяснял. У меня это ассоциировалось со словом «купырь», и только значительно позже мне кто-то объяснил, что на Дону так называют не вполне распустившуюся ветку.

Однажды он сказал мне: «У тебя кра-

сивая грудь» (он хотел сказать «шея», так как я была в кофточке с вырезом). Это было так неожиданно, так на него не похоже и так меня рассмешило, что я сказала Артёму, что Г[еоргий] умеет делать комплименты. Он мне серьёзно ответил: «Это он по глупости сказал. Не ступит нога оленя (?) там, где виден след бедра льва». (За построение фразы не ручаюсь.) Самое интересное это то, что я никак ещё не могла предположить, что Артём впоследствии окажет мне внимание. И смысл фразы не дошёл до меня; я просто считала, что ему положено говорить не совсем обычным языком.

Так и плыли. Всё вошло в колею. Лодка оказалась послушной и как раз на двоих. [...] Лодка — это дом. В ней так же надо соблюдать чистоту и порядок. Артём относился к этому своему дому ревниво, чего не скрывал. Это чувствовалось в выборе кандидатуры для совместного плавания. И однажды он, желая выразить высшую степень осуждения по поводу моего какого-то предполагаемого проступка, сказал: «Да я бы тебя никогда после этого к лодке не подпустил бы».

[...]

Чтобы быть добросовестной, надо упомянуть об одном случае: проплывая под мостом, как это было в первом плавании, надо было оформлять это, для чего Артём ходил в будку, находящуюся при мосте. Это занимало от силы 15—20 минут. Он показывал своё командировочное удостоверение из редакции, и часовых предупреждали, наверно, чтоб пропустили лодку.

На Иртыше перед мостом приткнулись к берегу, не снимая вёсел. Артём пошёл в будку. День был пасмурный. Кругом — ни души. Тихо. Сижу. Жду: Нету и нет Артёма. Пересаживаюсь с носа на скамью, на другую. Всмотриваюсь: никого нигде. Жду час, другой — начинаю волноваться. Прошло три часа. Готова плакать. 29-й год. Задержали? Почему? Может, не поверили документам, позвонили в город и ждут ответа? Арестовали? Мне забудут сказать. Идти к ним? Спрятать револьвер? Как бросить лодку? Кругом — ни души. Не то что на Волге. Наверно, арестовали, придут сейчас сюда. Может, Артём что-то ляпуул — застрелили на месте?

И не знаю, до каких нелепостей додумалась бы, если б не показался Артём. Вид у него был немного растерянный (он никогда не нервничал), он с ходу, не сказав ни слова, оттолкнул лодку. Я ничего ещё не знала, мне казалось, что лодка проходит не между быками моста, а между минами. Я съёжилась. От волнения я не могла

по-настоящему обрадоваться возвращению Артёма.

А потом Артём рассказал, что начальник начал с ним разговор и держал его только из-за разговора. На вопрос, чем было вызвано такое усиленное внимание с его стороны, он сказал, что сам не знает, что было сконюилось за меня, но уйти раньше не сумел. Очутившись на просторе, мы снова превратились в людей.

Плыли. Появились у нас уже вяленое мясо. Бить уток, которые встречались с выводками, я не разрешала. [...]

С людьми сталкивались редко. Пару раз киргиз возник на берегу верхом на маленькой лошадке и, проведив лодку глазами, поворачивал в степь. Мы взяли с собой словарь, где русскими буквами был написан киргизский текст. [...]

Путешествие кончилось письмом, сообщавшим, что Лёва болен. Мы даже не пытались продать лодку. Артём не хотел слышать, чтоб плыть с кем-либо или одному. Вмиг собрались. Подозвав к лодке беспризорного мальчика, Артём вручил ему сушёное мясо, завязанное в платок, и сказал, что он дарит ему лодку. И так он запомнился мне: малец, стоящий с узелком в руках у лодки.

И мы «отбыли» в Москву⁹.

[...] Чуткий к моим настроениям Артём предложил мне поехать в колхоз. [...] Скоро, а может, и не скоро, я уехала в Поволжье. Был 29-й год. Лёву я взяла с собой. Я увидела там то, о чём не писалось ни в одной из книжек тех лет. [...]

Поселилась я, так как приехала в качестве учительницы, у самых что ни на есть бедняков. Кроме верблюда, заменяющего лошадь, клопов и лягушек, прыгающих по полу, ничего интересного в хате не было.

Скоро Артём прислал телеграмму, чтобы я пришла повидаться с ним в почтовое отделение в соседней деревне. Он должен был быть там проездом. Я, правда, пришла туда, но он не приехал. Через неделю примерно появился сам, испугав своей папашкой хозяйку. И никак не хотел верить, что я ходила на почту. Так как будто и не поверил до конца, хотя встреча не состоялась потому, что там две деревни носили одно название. Короче говоря, он увёз нас, даже не успев удовлетворить любопытство хозяйки.

И немного спустя [весной 1930 г.] мы отправились в лодке по Волге с верховьям до Астрахани и были в плавании ровно 5 месяцев [с 1 мая] до 1 октября. [...]

Это было необыкновенно хорошее лето. [...]

Если первая поездка с Колей была в

сравнительно быстром темпе, то теперь мы плыли спокойно, подолгу оставаясь на стоянках и выбирая их по вкусу. Ночевали всегда на берегу. Лодка стала настоящим домом, в ней даже завелись мыши в ящичке с продуктами. [...]

За всё время поездки Лёва ни разу не кашлянул, загорел, как чертёнок. Если шли под парусом, то есть с попутным ветром, он был обязан верёвкой, конец которой прикреплён к скамейке. [...]

Плыли с картой¹⁰. Знали, к какому селу скоро подойдём. Вот открывається новый плёс внушительной картины храма на горе. Ничего ещё не видно, кроме этой большой [церкви], чуть поменьше Храма Христа Спасителя в Москве. Стрелёв уводит лодку к берегу. Церковь скрывается, чтоб появиться и исчезнуть ещё раз. Вот, наконец, мы у села. Старенькая и даже не совсем белая деревянная церквушка с разрушенной оградой приветливо смотрит на нас. Что за оптический обман? В Москве кто-то говорил мне, что места для церкви выбирались специально с расчётом на этот эффект. Мы имели неоднократную возможность проверить это. Ещё большее впечатление оставляли храмы, если кресты были золочёные.

На остановках у больших пристаней мы чувствовали горечь цивилизации. Уже некогда было созерцать что-либо. Надо было смотреть в оба, чтоб с лодки чего-нибудь не стянули, чтоб чужая лодка не стукнулась о твою (у пристани полно лодок), чтоб волна от проходящего парохода не сорвала лодку с причала и не нахлестала в неё грязной, чаще всего покрытой нефтью, воды. Бесконечными казались два часа, пока Артём ходил в город. Непривычная к платью кожа горела, в нос бил запах несвежей рыбы и грязи. Оглушали непривычный человеческий гомон и суета и любопытствующие чужие глаза. Артём тоже плохо переносил всё это. К лодке подходил стремительно и с ходу отталкивался, чтоб выбраться на воду.

Дело шло к осени. Уже не провозжали нас бегущие берегом по ходу лодки детишки. Появились на плёсах землечерпалки, расчищающие пароходам дорогу. Исчезли плоты и беляны. Выгорели наши майки, даже меньше стало комара. Вжились в лодочный быт, приобрели сноровку, закалку. [...] Поездки обдумывались Артёмом по-хозяйски. Не помню случая, чтоб у нас чего-либо не доставало. Был даже неприкосновенный запас в виде пары плиток шоколада. Но съедали мы этот запас немедленно.

А когда случилось в другой поездке,

что на почте прекратили выплату переводов на сумму выше 100 р., а [у нас были] два или три перевода по 200 р., то мы терпели сильное бедствие и питались несколько дней под Астраханью одними дынями. Дешевле дынь нельзя было купить ничего съестного. Это была картонная система, продажа хлеба втридорога из-под полы и пр., короче говоря, голодное время.

Что до сноровки, то я даже стрелять учился. Артём стрелял, воткнув кормовик в песок в профиль. Я стреляла, если можно так выразиться, en face. О своих успехах умолчу. Но с бреднем управлялась лучше, чем с поварешкой.

Стояли мы под Астраханью несколько дней. За время странствований нашу палатку обдули ветра, промыли дожди. Под утро сквозз поредешую ткань её виден был блеск двух-трёх крупных осенних звёзд. Однажды и палатка и песок вокруг неё оказались в инее. Пора было отправляться домой.

[Под Астраханью же] меня разбудил доносившийся откуда-то стон. Аа-а! Аа-а! — ритмично и заунывно тянул нестройный хор. Проснулся и Артём, выскочил из палатки. Скоро мы все трое шли по берегу, держась за верёвку в ряду однообразных фигур, тянущих по берегу конец сети и помогающих себе песней-стонем «Аа-а». Это была рыболовная артель калмыков, выбирающая невод, другой конец которого хлопотливо выводил к берегу крошечный пароходик. Скоро он сблизился с людьми, края сети приподняли, и между ними и машиной образовался котёл, кипящий от движения рыб, подпрыгивая, бьющих хвостами, ныряющих в этом аду. Рыбу вычерпывали ковшами с парохода. По заведённому там обычаю, мы, как всякий, кто взялся за сеть, в то время, когда её выбирают с уловом, получили свою долю. Добрый обычай.

[В 1938 г.] в Бутырках, истерзанная неведением, бросающим меня от уверенности в расстреле сегодня же ночью к твёрдому убеждению, что завтра я выйду «на волю», я забывалась и во сне тянула невидимый невод и вместе с тёмными фигурами пела аа-а. Онувшишь, соображала, что это стонет моя соседка по наре. Но чаще, глубоко уснув, я бродила по озарённым солнцем полянам и рвала цветы или ягоды. Мне было очень хорошо. Но проснувшись, я разгадывала сон — цветы и ягоды к слезам. [...]

Обратно возвращались на пароходе. Уже Волга была медлительна, уже не цветущие деревья, а зелёные арбузы или корки медленно плыли по ней, и казалось, что

Волга совсем не та. На пристанях пахло яблоками, вырвав дно бочки, расплозлось по дебаркадеру прокисшее повидло. К парходам девочки не выносили цветов и ягод. По утрам уже приятно спуститься в 3 класс и пройти мимо дышавшего теплом машинного отделения. В столовой не хочется смотреть на стерлядь, которую смакуют за соседним столиком, но Артём приносит с пристани и с удовольствием ест огромного свежеекопченного розового на разломе леща, или как его называют там — сазана.

Левитановская осень разукрасила берега, и с трудом, только при помощи Артёма, я узнавала наши лучшие стоянки. Обратное путешествие на пароходе было похоже на перелистывание прочитанной книги. Там иллюстрацию рассмотришь внимательно, там абзац перечитаешь. [...]

Вот начинают пропадать сплошные [пески], больше и больше растительности, берега как бы набирают силу. И вот, проснувшись утром уже на Средней Волге, жадно глядя на берега, которые при всей их гениальности, может быть, не сумел описать ни один из мастеров искусства, думаешь: «Нет, такой день уже никогда не повторится». И под солнцем, и сквозь сетку мелкого дождя неповторимо прекрасны волжские берега, если начался октябрь и не было ни одного губительного ветра...

Одна женщина, узнав, что Артёма взяли, пришла к нам (Ильза, которая была у нас на Ветлуге)¹¹. Помолчав, сказала: «Хорошо, что он успел поплавать». Желая объяснить непрошенные слёзы, я сказала, что боюсь за Артёма. Он невыдержанный, его могут убить. Она начала ещё и сказала: «Люся, отвезла бы ты детей к отцу» [в Минск]. Смысл её слов дошёл до меня только через два месяца [когда и меня арестовали].

Солнечным безветренным днём [1931 г.] на узкой песчаной отмели Ветлуги в Сустьях Артём молча сидел у небольшого костра и методически подкладывал и подкладывал свои черновики в бесцветный

огонь. А над ним взмывал кверху крутой песчаный обрыв, на краю которого стоят стеной сосны, да какие сосны! [...]

Артём всё подкладывал в огонь новые листы. О чём он сейчас думает? Но я его не беспокою. Мне это доставляло какое-то удовольствие, а жизнь шла, и я плескалась в Ветлуге. Она здесь узенькая, чистая и прозрачная, видно песчаное дно. Другой берег — сплошные зелёные заросли. И уж такая вокруг тишина! Вода теплая, ленивая, мне по грудь. [...] Лёва дома спал, а потом и он явился к костру.

К нам туда приезжали друзья Г [еоргий Андрейчин] и И [льза]. К. З. С. останавливались в селе.

[...]

Это было чудесное лето. Артём вернулся из-за границы¹² как бы расцветшим. Хотел ребёнка. Когда писал мне оттуда об Италии, то, упоминая о красоте женщин, добавлял: «Только здесь я понял, что прекраснее тебя нет никого». Говорят, что в каждой шутке есть доля правды. Он по приезде относился ко мне так, как будто так и было.

Возвратившись в Москву осенью, он был особенно внимателен. Несмотря на недвусмысленность моей фигуры, провожал меня, если я шла бульваром в санчасть до самого конца. Вечерами ходил со мной на Патриаршьи пруды гулять. Это такой небольшой пруд и вокруг него маленький бульвар с вековыми деревьями, а вокруг с четырёх сторон его тесно обступают многоэтажные дома. Кроме нас, гуляли парочки — беленький старичок и такая же ему под пару старушка, под ручку, а он с палкой, но так бережно её ведёт. Я смотрела на них и почему-то думала, что нет счастья большего на свете, как прожить так вот рука об руку жизнь с близким человеком. Даже у Артёма против обыкновения эта идиллия не вызывала никакой реплики. [...]

1956 г.

Новый Свержень — Столбцы

Примечания:

1. Фраза из письма старшей дочери Артёма Весёлого Гайры о реабилитации.
2. В конце 1924 г. Людмила Иосифовна была уволена с фабрики имени К. Цеткин по сокращению штатов.
3. Друг Артёма, поэт. Впоследствии репрессирован.
4. Друзья Артёма, литераторы.
5. «30 дней», 1927, № 5.
6. Отношения с Владимиром Ставским посвящены следующие заметки Людмилы Иосифовны:

«Владимир во время отъезда Артёма ночевал иногда в его комнате, так как жена и ребёнок были в Ростове. Артём в хорошем настроении цитировал из его ко мне телеграмм, и Владимир имел глупость поверять ему сердечные тайны, что он до смерти влюбился в меня и ничего не может сделать. Мне Владимир не нравился, этот молодой генерал, но было приятно, что он

проводил домой из театра в машине. Был очень грустен от любви ко мне, но я подозревала, что он грустный от того спектакля в Театре сатиры, который мы вместе смотрели. [Спектакль] был направлен против таких, как я.

Когда мы жили уже с Лёвой на Фальшивом у Геленджика, он был у нас дома и читал рассказы, а я насмешливо раскритиковала, несмотря на его генеральство, и сказала, что это сплошное ура. Ставский написал «Разбег», книгу, наверно, очень нужную в то время, а я сказала о ней то, что думала. Артём сказал, что он мне этого никогда не простит (как положит [ельная] бездарность).

Скоро отношения с Артёмом [перебежала] чёрная кошка. Видела его раз, когда уже дети были большеваты, он шёл грузный и печальный (уже умерла у него жена), задумавшийся, и оживление встречей прошло по нём, как мелкая рябь по воде, и, когда мы распрощались, я с глубокой радостью похвалила себя за то, что устояла в своё время перед натиском его чувства. Как бы мне было стыдно теперь перед самой собой.

7. «Бегство Наполеона из России» Верещагина.

8. Мать Артёма Фёдора Кирсановна.

9. В черновых материалах Людмила Иосифовна перечисляет основные пункты плавания по Иртышу: Тополёвый мыс [на Зайсане], Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар, Иртышск, Омск.

10. По воспоминаниям Людмилы Иосифовны, они пользовались очень подробными картами двухвёрстками.

11. Немецкая коммунистка, жена болгарского литератора Георгия Андрейчина, жившая в Москве. Муж был репрессирован в 1937 г. (?)

12. Зимой Артём ездил в Италию к Горькому.

Публикация, вступительная заметка и примечания Е. Говор

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЧИТАЙТЕ:

Юрий Красавин. ОНИ НАСТУПАЮТ. Повесть

Говорят, в последнее время зачастили на Землю инопланетяне, счастливицам удаётся входить с ними в контакт... Фантастическое и реальное, смешное и трагическое причудливо переплелись в новой повести Юрия Красавина, давнего автора «Волги».